

1 тур
Аналитическое задание
10 класс

Ученикам 10 класса предлагается **письменное задание** аналитического характера. Необходимо **ВЫБРАТЬ** один из двух предложенных текстов: прозу или поэзию. Выполняя задание, ученики **создают текст ответа**. Ученик сам определяет методы и приёмы анализа, структуру и последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное понимание, увидеть произведение как целостное единство элементов, несущее в себе смысл, – и на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором произведения.

Время выполнения – **не менее трёх астрономических часов**. **Максимальный общий балл за задание – 70 баллов**.

Прочитайте стихотворение **Петра Андреевича Вяземского** (1792 – 1878) «**Жизнь наша в старости – изношенный халат...**». Каким видит лирический герой мир вокруг себя? Оформите свои впечатления и наблюдения в виде анализа этого стихотворения.

П.А. Вяземский

Жизнь наша в старости – изношенный халат:
И совестно носить его, и жаль оставить;
Мы с ним давно сжились, давно, как с братом брат;
Нельзя нас починить и заново исправить.

Как мы состарились, состарился и он;
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже,
Чернилами он весь расписан, окроплен,
Но эти пятна нам узоров всех дороже;

В них отпрыски пера, которому во дни
Мы светлой радости иль облачной печали
Свои все помыслы, все таинства свои,
Всю исповедь, всю быль свою передавали.

На жизни также есть минувшего следы:
Записаны на ней и жалобы, и пени,
И на неё легла тень скорби и беды,
Но прелесть грустная таится в этой тени.

В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной,
Сердечной памятью ещё живёт в утрате,
И утро свежее, и полдня блеск и зной
Припоминаем мы и при дневном закате.

Ещё люблю подчас жизнь старую свою
С её ущербам и грустным поворотом,
И, как боец свой плащ, простреленный в бою,
Я холю свой халат с любовью и почётом.

Между 1874 и 1877

Прочитайте произведение **В.И. Белова** (1932 – 2012) «**Душа бессмертна**». Оформите свои впечатления и наблюдения в виде анализа этого текста.

В.И. Белов

ДУША БЕССМЕРТНА

Итак, печи были протоплены. Окна прослезились на короткое время, но быстро просохли. В столетнем доме моём исчезла предосенняя свежесть. Два ведра чистой речной воды стоят на кухне, рюкзак с харчами разобран, стол свободен от лишних бумаг. Телефон отключён, а ворота не заперты. Пусть идёт ко мне кто хочет, я буду рад каждому. Только я-то знаю, что никто не придёт, покуда не позовёшь.

У меня всё есть для усиленного труда.

Я одинок и свободен, я согрет, ноги обуты в тёплые мягкие валенки. И главное, никуда не спешу. И уже нарастает радостное возбуждённое состояние – всегдашний предшественник лёгкой и плодотворной работы. И тут я в ужасе обнаруживаю, что мои очки оставлены в городе... Боже мой, что делать?

Какая досада... Меня охватывает капризное чувство балованного дитяти, которому посулили, но затем позабыли купить дорогую игрушку. В отчаянии я бегу на материнскую половину: там, в корзинке для иголок, напёрстков и пуговиц, я видел как-то давнишние очки Анфисы Ивановны, – мама, одна она выручала меня всегда (другие тоже меня выручали, но не всегда).

Увы, в этот раз не выручила и она. Очки матери слишком узко поставлены и слабы оказались, наверное, всего плюс полтора. А как она просилась в деревню. Возьми, мол, и меня, мне там лучше будет, сама и ходить начну. Просила как бы шутливо, заранее зная, что не поедет. Сёстры, ни та, ни другая, не могли на зиму глядя поехать с нами, я прикатил сюда один.

Однако ж какая нелепость. Нет очков, либо выронил в траве авторучку, и ты уже ничего не можешь, ты беспомощен, как инвалид. Ни читать, ни писать... Чувствую, как моё раздражение перерастает в тоску. Унылое равнодушие уже крадётся из всех углов нашего древнего дома. Неужели ничего не остаётся, как опять включить телефон, радио, телевизор, эти гробы поваленные, эти информационно-долбёжные ящики с ночными напутствиями?

Ежедневно в Москве и в Вологде в двадцать часов приходит в дом Смердяков. Выпучив неживые свои глаза, этот зануда каждый день старательно и монотонно внушает мне на ночь, в какой жалкой и неопрятной стране я живу. Разбирая дневные события, он успеваает несколько раз плюнуть в моё лицо. Откуда он знает, что я не сдерну ружье со стены и не побегу на вокзал, чтобы истратить последние деньги на билет в Приднестровье?

Он уверен, что я никогда этого не сделаю. Вот свинья... Бес, предсказывающий мои поступки, исходит из собственного электронно-лучевого устройства. Ему и в голову не приходит, что он ошибается, что терпенья мне остаётся всего на доньшке. Да, я и впрямь пока не хватаю его за шиворот. Опять откладываю свою поездку в Тирасполь. Опять смываю смердящие плевки грибными дождями своей вологодской родины.

Будто надеясь на какое-то чудо, уныло гляжу в окно на дорожную августовскую грязь. Там, через улицу умирающей нашей деревни, видны рябины соседа, огрузшие от обильных гроздьев.

Как много выросло ягод! На расстоянии ощущается тяжесть гроздьев, гнетущих к земле древесные сочленения. Кажется, что в терпеливом напряжении веток дерево ждёт, когда наконец налетит стая голодных серых дроздов. Они за пять минут опустошат всё это красочное богатство. Однажды я видел, как дрозды в один налёт обчистили и нашу рябину. Птицы клевали ягоды с поспешной жадностью, некоторые висели на ветках вниз головой и всё же клевали. Но почему одна рябина оранжевая, другая красная? Душевный разлад не дает ни думать об этом, ни чувствовать цветовую разницу. Я даже злюсь на себя за то, что позволяю себе думать. И так со всем, за что ни возьмёшься. Какая всё-таки тишина, какая тоска. Но я всё ещё креплюсь и ничего не включаю. Вот она, пресловутая современная техника, торчит даже под столом!

Проигрыватель раздражает, бесит меня как быка своим красным знаменным цветом. Безотчётно, неосмысленно я сую вилку в розетку... Пыльная пластинка, ещё с

весны оставленная на диске, начинает вращаться. Так же безотчётно я опускаю адаптер. Звуки заполняют пространство, обрамлённое стенами, я сопротивляюсь, но они, эти звуки, проникают, они живые.

«Времена года» в исполнении Алексея Черкасова... Конечно, это он, Чайковский, звучавший в избе ещё весной и в сенокос! Музыка обволакивает, как обволакивает печное тепло: я закрываю глаза, прислонившись к печке. Я слушаю и словно бы засыпаю, ведь спать можно не обязательно лежать... Лошади и слоны тоже умеют спать стоя. «Не думай много, – сказал мне однажды хозяин законных рябин. – Пусть думает лошадь, у неё голова-то большая». Сейчас я, и правда, не думаю, я слушаю «Осеннюю песню». В глазах моих сухо, но я плачу... я вспоминаю детство и то, что было полвека назад. Ничего не исчезло, и ничто не умерло, даже наша Берёзка – маленькая, со сломанным рогом корова, Берёзка, которую держали мы половина-на-половину с соседями. Когда вторая половина Берёзки каким-то образом перешла в наше единоличное пользование, налоги оказались совсем непосильными. Мать рассказывает, как вела Берёзку на мясозаготовку за сорок вёрст к Северной железной дороге на станцию Пундугу. Она вела корову на верёвке через волока и деревни, а у Берёзки на всём пути катились по морде слёзы. Я не поверил бы этому, если б рассказывал кто-либо другой, а не мать.

Я знаю, что мама скоро умрёт, она тоже знает и пробует даже шутить, но я всегда раздражённо обрываю её и говорю: «Мама, все мои деревенские сверстники давно в могилах... Мои друзья Рубцов и Шукшин тоже, Рубцов был моложе меня. Мы все одинаковы перед этим делом, и молодые, и старые. Поэтому ты не говори больше о смерти...» – «Не буду, не буду». Но пройдёт день-два, она снова как бы шутя: «Слава Богу, вот начали ноги пухнуть. Долго-то не наживу».

Память её остра и, как прежде, безжалостна, а сердечная доброта к детям, внукам и правнукам ещё неизбывней и шире. Она всё помнит, ум её ничуть не слабей моего, а смерть её близка. Да, мы оба знаем это, и я и она, но я все пробую не думать о её смерти. Меня топят безмерная жалость.

Отчаяние подкрадывается из всех углов нашего деревянного дома, потому что всё в этом жилище связано с матерью. С какой тоской глядела она вчера, когда я уезжал в деревню, оставляя её в городе! «Возьми меня-то!» Я не давал ей говорить о смерти, я взрывался либо начинал доказывать, что всё это не наше дело. Но она знает, что жить ей осталось совсем немного, я тоже знаю и прячусь от этого знания, подобно ребёнку, закрывающему глаза, когда он играет в прятки. Когда-то мне хотелось умереть раньше, так ненавистна была истина о неизбежности материнской смерти. Позднее, с помощью матери же, до меня дошло наконец, что желание исчезнуть раньше, чтобы не испытывать ужаса потери, – это тоже ведь грех, тоже проявление наивысшего эгоизма, близкое к преступлению самоубийства. Всё это так, но какая тоска...

Без всякой душевной усталости быть в ясном уме и в полной памяти и чувствовать, как тайна земного небытия стремительно приближается к тебе, что тебя отделяют от этой тайны уже не годы, а всего лишь недели и, может, даже дни. Как раз в таком состоянии осталась она в городе, а я вот снова в деревне, наслаждаюсь тут печным теплом и родной тишиной. Что делать? Я бы привёз её сюда, если бы асфальт, если б скорая помощь не в шестидесяти километрах от дома, если б... Скоро, скоро для неё всё кончится...

На стене над моим столом фотография с картины художника Волкова: Пушкин, преодолевая боль, приподнимается на снегу и целится в международного проходимца, напавшего для маскировки русский гвардейский мундир. Настольная энциклопедия Битнера называет Дантеса не офицером, а дипломатом. Будущему владельцу роскошного замка всё равно было, кому служить: то ли Николаю I, то ли масону и предателю Франции Наполеону III.

Александр Сергеевич Пушкин умрёт, ему осталось жить очень недолго. Возок ждёт, секунданы застыли в безмолвии. Пушкин целится во врага своей Родины. Я родился через девяносто пять лет, без мала целый век минул после той петербургской

зимы, – но почему я плачу? Без слёз, сжимая поределье зубы... Плачу о матери и о Пушкине.

А может быть, ты просто стареешь, становишься слезливо сентиментальным? Может быть... Всё может быть, господа демократы!

*Приснилось мне, что я давно старик,
Сухой и лёгкий, словно дым осенний,
Не ведающий боли и страданий...*

Свои же строчки, слова Лешего для второй части сказки «Кощей Бессмертный», так и не нашли продолжения. Лет с десятков назад, когда я ещё читал без очков, очень хотелось сочинить и вторую часть, но один, ныне покойный, мой друг холодногато отозвался о моей сказке. И я отложил её. Интерес к языческим персонажам не исчез. Или мне всего лишь почудилось, что Юрий Селезнёв отозвался о сказке холодногато? Тоже может быть. Так или иначе, вторая часть не родилась, и вот время ушло. Теперь я уже зависим от этой – как её? – диоптрии. Я слушаю гениальные звуки, проникающие и вечные. Они заставляют думать, что разницы между живыми и мёртвыми не существует. Душа бессмертна, потому что одна и ни на кого не похожа. Ни на кого не похожа «Осенняя песня». Разве не она, не душа Чайковского, витает в моей избе? Может, это кощунство, но, когда я одинок, я не чувствую разницы между моими умершими и здравствующими в разных местах друзьями. Для меня они одинаково живы, как жива душа Петра Ильича Чайковского. Звучит его «Осенняя песня», и я слышу грибной запах от скрипучей тяжёлой корзины, вздрагиваю от лесной влаги и отмирающих берёзовых и осиновых листьев, чую всё, что делается за воротами.

«Сейчас натяну сапоги и выйду в осеннее поле, – думаю я, а сам переставляю адаптер на сенокосное место. – Или нет, лучше послушаю всё сначала...»

А где же оно, это начало? Как могу я считать началом всего, например, собственное рождение? Ведь задолго до меня грелись у камелька отец с матерью, две мои бабушки и два деда, четыре прабабушки и четыре прадеда. Четырнадцать. (Я пятнадцатый). Но ведь у каждого тоже свои деды и прадеды. Для всех прыгали из печки по вечерам горячие угольки. Каждый слышал пушечную морозную пальбу за тёплой стеной. И нету тут ни конца, ни начала, как нет их у чёрной бездонной небесной глубины, развернутой в промежутке между ночными созвездиями. Стучали по избам кросна, и так же, как для меня, пеклись у вечерних углей сладкие луковки. И крестики из лучинок мастерили точно такие же, и дедковы сказки звучали так же, как для меня когда-то звучала сказка про тетерева в устах моего прадеда Михайлы Григорьевича. Сейчас я ловлю и никак не могу изловить и выразить ускользящее сходство его с Чайковским.

Что тут единого, между красными углями тёплой лежанки, сложенной сбоку от могучей крестьянской печи, и теми огнями в петербургском камине, на кои глядел в задумчивости великий современник моего прадеда? Ах, тут всё едино, хотя не похоже друг на дружку! Конечно, ни в петербургской квартире, ни в светлом доме фон Мекк под Москвой стены в мороз, наверное, не палили, словно мосинские трехлинейки, и повара не называли обычный картофель яблоками. Так почему же я слышу сейчас валдайский бубенчик моего прадеда? И бодрящий ритмичный бег по скользкой дороге, и хохот весёлой масленичной толпы, и катание на слегах, о котором мама так часто рассказывает – всё как бы перевоплотилось, без потерь вместились в этих бессмертных звуках. И становится ясно, что ничего не проходит бесследно, ничего не пропадает и не бывает зря. В горле размягчается и затем исчезает горькая моя тяжесть, я снова въяве слышу утренний звон застывших за ночь снегов, они слепят меня отражением золотых ранних лучей.

Холод подстегивает всех нас, голодных уже с утра. Но мы по насту бежим в школу... Так весело, так приятно сократить утреннюю дорогу, пробежав напрямую через поле и перелесок, спугнув раскипавшихся на току полевикув. Мы обследуем стог, от которого полетела, как на крыльях, рыжая белогрудая лиска. Ведь это же та самая, что

добывала в городе указание, запрещавшее тетеревам сидеть на деревьях, чтоб «гулять им по зелёным лугам».

Далеко ещё нам, весёлым и голодным, до зелёных лугов, но вот уже сидит на проталине первый чёрный скворец, и первый подснежник удивленно проклюнулся из-под снега на белый свет. Слушая музыку, я чувю младенческую беспомощность этого крохотного зелёного существа. Но какова сила ничему не подвластной, неукротимой и вечной жизни! Везде белоснежный слепящий холод, а наш пострел везде поспел. Вокруг белые, окаменелые от мороза пласты снегов, а тут на малой проталинке, на усторонье от полярного дыху, на прозрачной закраинке плавится и отступает ледяной панцирь, меняясь на обнажённую землю каплю за каплей. И он – младеничек-подснежник, – не успев проклюнуться из земли, уже заторопился цвести...

«Жизнь сильнее смерти» просится на бумагу банальная фраза, и я уступаю, запускаю её туда, хотя знаю, что сопоставление понятий жизни и смерти неправомерно. Ведь смерть – это всего лишь часть Жизни. Зачем же я поддаюсь искушению, уравнивая в правах целое и составную его часть? Вычеркнуть фразу, и дело с концом! «Да ведь она уже написана и живёт помимо тебя, – гундосит голос со стороны. – Справедливо ли будет бороться с тем, что живёт помимо тебя? И фраза, кажется, не твоя, она позаимствована». Хитрец... Он, этот голос со стороны, всегда сбивает тебя с ритма, раздваивает, расширяет сознание. Разделяет и властвует. «Душа бессмертна», – утешаю себя, но меня снова одолевают сомнения. Сердце жаждет материального воплощения этой вечности, и я никак не могу смириться. Вот, речь не о собственной смерти (о ней я думаю почему-то совсем спокойно), речь – о предстоящей, такой близкой смерти мамы или, уже свершившейся, друзей. Я не могу принять смерть и понять её, я протестую! Даже гибель очередного соседского пса, расстрелянного на шапку и тотчас пропитого, вызывает в душе разлад. А что говорить о смерти Яшина, Шукшина, Селезнева, Рубцова, Передреева? До сих пор не могу заставить себя сесть и написать воспоминания, всё изворачиваюсь, ищу новые способы примирения с гнусной действительностью. Вот и сейчас пришла в голову подлая мысль, мол, нет разницы между твоими умершими друзьями и теми, которые живут далеко от тебя. Мол, не одно ли и то же: голос с магнитофона (давно умершего) и голос в телефонной трубке ныне здравствующего?

Дьявольщина... Мимолетное, но далеко не безобидное искушение. Мне стыдно. Я хватаю телогрейку, шапку, кое-как наматываю портянки и обуваю кирзовые солдатские сапоги. Выключаю Чайковского на «Апреле» и выбегаю из дома.

На улице август. В ушах ещё журчит апрельский жаворонок Петра Ильича Чайковского. Не улетел, хотя ты вроде бы и не слушал его в минуту печальных раздумий. Говорят, что в Подмосковье уже несколько лет не слышно весёлого голоса жаворонка. Выходит, что Чайковский и Алексей Черкасов спасли душу крохотной птички русских полей, увековечили её в удивительных звуках. Исчезнув из жизни, жаворонок, подобно алябьевскому соловью, поёт и трепещет в бессмертном и высоком небе искусства. Впрочем, соловья Чайковский тоже, кажется, увековечил... Но кто и каким способом вылавливает и душит полевых и лесных певцов? В наших краях они ещё живут кое-где, весной ещё можно кое-где их услышать. Какое торжество жизни, какой восторг слышен в захлебывающихся звуках жаворонка, когда он отвесно и как бы поэтично, раз за разом поднимается в небо вместе с собственной песней! Может быть, весной я уже не услышу своего вологодского жаворонка, стальные силки прогресса давят и не таких беззащитных певцов, А что такое прогресс, я постигаю и здесь на каждом шагу...

Осенняя ночь едет на семерне, и ночью прошла гроза. Я знаю, что прошла последняя гроза в этом году, больше не будет. Надо было одеться и выйти из дома, а я поленился даже проснуться.

И только сквозь сон слушал не сильное, словно приглушённое ворчание грома. Может, вообще она тебе просто приснилась? Нет, гроза звучала в действительности, рычала не сверху, а как-то с боков, подобно тракторам, которые рыскают около дома тоже

почему-то больше по ночам. Чем больше жалею пьяных механизаторов, тем сильнее противятся они моей жалости. Но я не в силах гордиться вот этим своим земляком: неизвестный мне балбес ехал вчера с центральной усадьбы, остановил трактор за Тимонихой, набрал на поле камней и пошёл в атаку на большую странную птицу, которая прилетела неизвестно откуда. Она стояла на прошлогодней копне, большая, недвижимая. Я боялся её спугнуть, побежал домой за биноклем. Никогда не было таких птиц в поле за моим домом! Может быть, это была цапля, может, аист с отравленных берегов Десны, прилетевший к нам в поисках благополучной земли. От волнения я не успел разглядеть и запомнить расцветку. Сегодня я даже не взял бинокль, птицы на копне, разумеется, давно не было. Куда она улетела? И жива ли вообще? Утки вон тоже до того наивны, так уж доверчивы, что ныряют весной и плещутся в придорожных лужах. Пусть ружья у нас далеко не в каждом доме, как в Карабахе, но есть ещё ружья, есть. И патроны есть тоже. Уж лучше бы чего-нибудь не было: либо уток, либо патронов. «Это не в твоей власти, – говорит мне мой внутренний подстрекатель. – Так чего же и расстраиваться». Я пытаюсь не слушать его... «Я не желаю раздваиваться! — безмолвно кричу я сам себе. – Не желаю... и потому не стану думать о патронах и утках». Приду из поля в деревню, разуюсь на лестнице. Зайду в избу и поставлю звукозаписывающую аппаратуру на белую июньскую ночь, и эта ночь проникнет, затопит своим недвижимым летним северным светом мою тёплую деревянную избу, проникнет во все её янтарные стены и потолки. А когда исчезнет призрачный серебристый свет и начнет всходить большое, розовое солнце, я опять прислонюсь к теплой печке и закрою глаза...

Чайковскому было достаточно создать один лишь цикл «Времена года», даже одну «Баркаролу», чтобы навсегда остаться в русском искусстве. Душа его стала бессмертной. А то, что душа Чайковского бессмертна, я чувствую сейчас всем своим естеством. Всё собралось в этих неувядаемых звуках: и многоцветье полевых трав перед Ивановым днём, их многотысячные запахи-голоса, сливающиеся в один ароматный хор, и высокое солнце в шадящем неполном зените, и горизонт, искажённый струями марева, и отрада полуденной тени. Ещё не пришла земная усталость, ещё переполнены зелёной кровью деревья и травы моей родины. И речка наша чиста, и совесть моя, когда я ныряю, вернее, падаю в отражённое омутом небо. «Когда это было?» – спрашиваю себя и чувствую пустоту вопроса, его несоразмерность моему состоянию. Не было, а есть. Сейчас! Никуда ничего не исчезло... И хотя из реки нельзя иногда пить и никто не пьёт нынче во дни сенокоса, я слышал однажды и слышу сейчас песню, песню не одного косаря, а целой артели, идущей в деревню тёплым и поздним вечером. Давно уже не сеют рожь за деревней, но я видел её и вижу сейчас. Блестит серп в материнской руке, плавится в омуте золотого неба. Залезаю под высокий суслон, играя в прятки со сверстниками. Ищу на меже землянику и чую её поистине божественный запах. Неделю назад я принёс в ведре с водою две ракушки, они были точь-в-точь такие же, как полвека назад. И зелёный щурёнок всё так же стоит в тёплом речном затончике.

Ракушки живы в моём ведре, а воду я почти всю выпил. Пойду вот по воду и выпущу их обратно в речку. Может, увижу и того знакомого мне щурёнка. Он вырос, наверное, за четыре недели, пока я здесь, как вырос за это время соседский жеребёнок Малыш. Вороним родился, с белым копытом. Сейчас посветлел – выгорел, что ли? Но солнце давно уже не летнее, в моём доме звучит бессмертная «Осенняя песнь».

Осознанно и глубоко чувствую ощущение счастья. Откуда оно, счастье, когда... Не надо спрашивать. Может быть, счастье сквозит в лесной осенней свежести или источает его янтарь болотной морошки. Я беру ягоды, сидя во мху, как в цыганских перинах, набираю горстями, пригоршнями и поглощаю эту благодатную янтарную плоть. Говорят, что умирающий Пушкин просил сбегать в лавочку за мочёной морошкой. Вспомнил об этом, и теперь ягоды уже словно не ягоды. Пригоршня оранжевых слёз... Чернику в болоте я тоже поглощаю горстями – разве это не счастье? Чернику горстями... (Смешно, но... если б я оставил в городе не только очки, но и свои железные, казённые, как говорит

сосед, зубы, я не пропал бы на родимом болоте. Ешь горстями чернику, дави языком, прижимая к нёбу и деснам крупные спелые ягоды, и с голоду не умрёшь). Одни комары мешают великому счастью в лесной солнечной тишине. Становится жаль своих дорогих и близких людей, стыдно набивать рот горстями черники, ведь они-то не имеют сейчас этой возможности. В корзину её, в корзину! Разве это не счастье? Выйду ли из леса, и корова уставится на тебя удивлённо и простодушно: мол, кто и откуда? Вздохнет глубоко и шумно, подобно кузнечным мехам, и по глупости не уступит тебе дорогу. Как приятно, как отрадно это коровье упрямство. А там, в деревне, стоит у ворот сарая с девичьей душой женщина, глядит в мою сторону, ждёт, когда я подойду ближе. Я знаю, чего она ждёт и глядит. Ей до зарезу хочется знать, кто идёт по дороге. Приблизусь на нужное расстояние, узнает, что это я, и сразу стыдливо исчезнет. Разве не радость, разве не счастье? Великое счастье иметь просто друзей, а у меня, кроме этой музыки и этой зелёной родины, есть мать, жена и дочь, и сестры, и братья. Пусть они далеко от меня, но они рядом, я слышу и вижу всех. Затоплю баню после усталой ходьбы, как затопили свои бани трое соседей. Я настолько счастлив, что по запаху различаю сосновый, березовый и ольховый дым...

Или бодрит меня спокойствие предзимних полей? Станица перелетных гусей стремится на юг. Давно исчезла в лесу золотая морошка. Курлыкают журавли, ночующие в холодном поле, а в моём доме звучит бессмертная «Осенняя песнь». И был бы тот день долгим, счастливым и долгим, если б не клубился дым Приднестровья...

1992 год